

УДК 811.161.1'42

ЛЕВ ТОЛСТОЙ – ЧИТАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ

А. Ю. Сорочан

Тверской государственной университет
кафедра истории русской литературы

В статье рассматривается один из значимых аспектов читательского опыта Л. Н. Толстого. Историческая беллетристика присутствовала в круге чтения писателя, однако влияние этих текстов остается еще до конца непроявленным – как и в целом генезис «толстовской» линии в русском историческом романе XIX века.

Ключевые слова: *исторический роман, читатель, русская литература XIX века, Л. Н. Толстой, Е. А. Салиас, Г. П. Данилевский, Р. М. Зотов, беллетристика, восприятие*

Читательская проблема – «вторая половина» литературоведения [1, с. 27] – в немалой степени способствует постижению литературных закономерностей. В историю русского читателя XIX столетия легко вписать и истории русских писателей. Ведь их читательский опыт провоцирует позднейшее решение многих литературных споров, способствует формированию и уничтожению литературных репутаций, определяет позднейшее восприятие многих текстов.

Изучение читательского восприятия в творчестве Толстого лишь в малой степени затрагивало вопрос о Толстом как читателе художественной литературы. Г. Н. Ищук отмечал, что «Толстой представлял собой наивысший тип читателя» [6, с. 87]. Роль читательских впечатлений в творческом процессе писателя (применительно к «Войне и миру» и «Анне Карениной») неоднократно рассматривалась. Но классифицировать читательский опыт Толстого пока еще никто не решился – очень уж разнообразен и опыт, и формы его воплощения. На примере одного только исторического жанра нельзя построить цельную и непротиворечивую классификацию. Однако можно сформулировать общие закономерности восприятия беллетристов классиками – здесь материал кажется весьма благодатным.

Толстой зачастую предстает читателем-догматиком – и когда безапелляционно рассуждает о трудах историков-профессионалов, и когда презрительно отмечает ничтожество валового продукта исторических романистов. В этот ряд у него попадали и Мордовцев, и Вс. Соловьев, и Салиас, и другие современники. Вместе с тем это отторжение всегда закономерно. Судить об исторической беллетристике романист берется после «Войны и мира» – когда есть и соответствующий опыт, и право судить. Ведь при взгляде на эту прозу становится очевидной ее рабская зависимость от Толстого – вторичность и отталкивает писателя.

Логика писания истории отображена в дневниках Толстого: «Каждый исторический факт необходимо объяснять человечески и избегать рутинных

исторических выражений. Эпиграф к Истории я бы написал: «Ничего не утаю»» [12, т. 46, с. 212]. Толстой стремится не скрывать факты, как можно более полно воспроизводя события прошлого. Но значение исторического факта в его системе репрезентаций уже иное, нежели у Пушкина. На смену строгому сцеплению тщательно подобранных фактов приходит безграничный набор случайностей. Толстой говорил А. В. Жиркевичу: «В «Войне и мире» отдельные лица ничего не значат перед стихийностью событий» [13, с. 17]. Но ничего не значат и отдельные события; изображение жизни как она есть потому и производит в эпопее столь ошеломляющее впечатление, что невозможно не поддаться очарованию исходной установки – «заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях» (из письма П. Д. Боборыкину [12, т. 61, с. 100]). Художественное осмысление истории меняется – из цепочки фактов она превращается в безграничное собрание случаев. Толстой увидел именно это в исторической беллетристике 1870-х годов.

Первый исторический роман плодовитого беллетриста – «Пугачевцы» (1874) – остался, по признаниям критики и самого автора, его лучшим произведением. Для критиков того времени дебют был поистине многообещающим: романист предлагал как бы синтез пушкинской темы и толстовских историософских концепций для массового читателя [3]. Салиас анализирует пугачевское восстание «изнутри», пытаясь реконструировать диалектику души, исторические аналогии для него роли не играют. Текст огромного романа (как и у Толстого, вышедшего в 4-х томах) разделен на главы «психологические» и «исторические», в которых непременно присутствуют философские преамбулы или заключения. Каждая часть открывается сопоставлением непреходящих природных катаклизмов и преходящих человеческих бедствий (море людское, степь на ветру, ураган и прочее). Анализ психологии героев в романе присутствует, хотя и крайне примитивен: «Воспитывал их Азгар, склад барской жизни и дворян; характеры же слагались из двух сил: первая сила – родовые, потомственные пороки и добродетели, а вторая – случай» [8, с. 102]. Эта авторская установка будет еще более прямолинейно развита в описании азгарского барства в продолжении «Пугачевцев» – романе «Найденыш» (1877). Носителям барской психологии противопоставлены «степные люди». Степь – идеальное место для разгула «удали молодецкой... Набредет кто на простор и приволье степное – начнет топить печали свои в крови человеческой» [8, с. 47–48].

Сама трактовка сюжета многое объясняет в необычайном успехе автора. Романист предлагает «случаи» яркие и при всем их неправдоподобии сохраняющие некую притягательность. Скажем, непоследовательность в поведении Пугачева Салиас объясняет наличием двух самозванцев – доброго и злого. И сюжет строится так, что читатели наблюдают последовательно за обоими героями и обнаруживают абсолютную неспособность исторических лиц направлять события. Все герои Салиаса «плывут по течению» и совершают поступки «неведомо почему». Внешняя непоследовательность может получать условное сюжетное объяснение, но никаких попыток осмыслить происходящее автор и герои не предпринимают – да они и невозможны в силу отсутствия какой-либо логики в истории.

Толстой отказывается от исторического материала, оставшись непонятым и читателями, и собратями по перу. Он высказал все, что казалось нужным, и не нашел понимания. Отказ читать современные статьи о себе [13, с. 32] характерен для многих авторов, обращающихся к исторической тематике (позднее сходные чувства будут выражать Д. Л. Мордовцев, Вс. С. Соловьев). Это связано с невозможностью преодолеть инерцию восприятия исторических фактов; слишком много слов нужно, чтобы выразить во всей полноте сложность соотношения психологии, истории и философии – в итоге рождается представление о «дребедени многословной» [15, с. 9–40]. Роман из истории Петра Великого был отброшен не столько потому, что Толстому стал несимпатичен герой [2, с. 46], сколько потому, что такого рода оценка героя вела к «упорядочиванию» истории, чего романист стремился избежать (первоначальный хаотичный зачин включал множество разрозненных сцен с будущими главными героями, в последующих редакциях повествование все сильнее подчинялось логике, а не случаю). И художественно более совершенные фрагменты все меньше передавали сущность исторических представлений романиста.

Однако был среди романистов 1870-х годов и тот, кто вызывал общеизвестное толстовское сочувствие – Григорий Петрович Данилевский (автор первого репортажа из Ясной Поляны). Причина сочувствия читателя к автору (имеющему не самую завидную репутацию), проста: модель, предложенная Толстым, претерпевала различные трансформации. Салиас попытался упростить ее, Данилевский пошел по иному пути.

В 1880-х гг. Данилевский является одним из самых популярных исторических романистов. Его книги становятся явственным продолжением пушкинской традиции, раскрытие «правды факта» оказывается едва ли не единственной целью исторической прозы в этой модификации. Именно поэтому, пожалуй, несправедливы упреки в заимствовании у Толстого, особенно часто звучавшие в связи с романом «Сожженная Москва» (1886). В 1885 г. Данилевский посетил Толстого в Ясной Поляне [11]; после этого Толстой практически заставил Данилевского опубликовать роман [14, с. 590–592]. Рассуждения о соперничестве с Толстым сам автор считал «издевательством» [9, с. 82]; в этом нет ничего удивительного – пушкинский опыт для романиста оказался важнее толстовского. Все поздние романы Данилевского подтверждают, что в репрезентации исторических событий он отталкивается от пушкинских установок. В «Сожженной Москве» их отчасти заслонял «толстовский» сюжет, а в последнем завершенном романе Данилевского сюжет избран как раз пушкинский.

Многие эпизоды «Черного года» тоже слегка варьируют мотивы «Капитанской дочки», в некоторых случаях даются их сниженные интерпретации. На сторону Пугачева переходит не новый дворянин Швабрин, а всего лишь спившийся купец Теодор Прядышев, да и тот норовит сбежать. На аудиенции у самозванца он дарит ему отцовскую шубу: «...и не токмо шубу, а презент, коли его царское величество удостоит, готовы и жеребцов» [4, с. 292]. Платя Теодор явственно не бережет – полураздетым его ловят у цыган на постоялом дворе, в крестьянской одежде, остриженный в скобку,

бродит он в финале романа, пытаясь убить Дуганова. Зато Дугановы сберегают честь мундира и платья.

Глеб Дуганов наблюдает за ближним советом Екатерины, в котором участвуют Потемкин, Орлов, Панин и прочие. Эта сцена явно имитирует совет у Пугачева; в обоих случаях вымышленный персонаж становится свидетелем того, как определяются дальнейшие действия реальных исторических лиц. Интересно, что оба писателя в сцене совета вводят вымышленные «художественные» детали. У Пушкина такова пресловутая песня, у Данилевского – вымышленный диалог, основанный, впрочем, на скудных исторических указаниях. На совете Орлов просит «снять цепи народного рабства» [4, с. 248]. Ему резонно возражает Потемкин: «Неразвитая, слепая, у дикая чернь <...> бросит неблагодарный и тяжкий труд земледельца и бурным потоком хлынет из сел в города» [4, с. 249–250]. Екатерина с готовностью принимает данный аргумент; с ним согласны и дворяне: «Так было всегда в мире, так и будет <...> раб останется рабом» [4, с. 317]. Разумеется, вымысел у Данилевского оказывается парадоксальным образом едва ли не наиболее «реальным» элементом во всей сцене совета – освобождение крепостных гораздо ближе к настоящему, чем пугачевское восстание. Поэтому эффект от описания разрушается; у Пушкина этого не происходит – из-за тщательного выбора «выдуманной» детали.

Впрочем, к песне из пушкинского романа Данилевский возвращается неоднократно. Но введение фольклорного образа в текст мотивировано противопоставлением двух бунтовщиков. Пугачев отличается от Разина, ибо «царское имя на себя взял <...> Тот, сказывают, летал понизу, как черный ворон, падалью не брезгал; этот же летает высоко, как орел» [4, с. 276–278]. «Черный год» – не только год скорби; это еще и год «черного народа», становящегося на сторону Пугачева ради воли. Поэтому крестьяне вешают добрых бар и присоединяются к бунту, а потом как ни в чем ни бывало возвращаются назад: староста Дрон, примкнувший к бунту, пожалуй, одна из немногих непосредственных отсылок к «Войне и миру»; другая – крестьяне, пришедшие к Лаптеву, чтобы мирно обсудить его убийство. Финал романа вновь отсылает к пушкинским «преданиям семейства»: дети Дугановых скачут мимо отчего дома, а на крыльцо выходит все семейство. Любопытно отметить, что в новую экранизацию «Капитанской дочки» («Русский бунт», реж. А. Прошкин, 1997) в качестве эпилога включается как раз этот эпизод – у Пушкина его нет, зато есть у Данилевского...

Отношения своего к «пушкинским» романам Данилевского Толстой не изменил – существуют свидетельства, что он перечитывал Данилевского и в последние годы жизни. Но и сочувствие читательское для писателя не продуктивно – оно не стимулирует творческий процесс. И в читательском опыте Толстого выделяется еще одна группа.

Этот опыт можно определить как чтение-домысливание, наиболее продуктивное и интересное. И писатели предшествующих поколений, и современники могли провоцировать читателя-Толстого на подобные действия. И творческая фантазия активизировалась, когда беллетристы многое оставляли на волю читателя – «воображаемый читатель» оставался вариативным, образ его был лишен догматизма и все же очерчен достаточно рельефно, чтобы

рассчитывать на сотворчество. И Толстой совершенно неожиданно стал, пожалуй, идеальным читателем таких разных авторов, как Рафаил Зотов и Даниил Мордовцев.

К творчеству Зотова Толстой обращался в периоды работы над «Войной и миром». Преимущественный интерес этого романиста к личности и эпохе Наполеона I объясняется не только участием Зотова в войне 1812 года и хронологической близостью этих событий, но и своеобразной исторической концепцией писателя. Подзаголовок первого романа Зотова «Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона», над которым иронизировал Белинский, отнюдь не случаен. У автора книги это указание на невозможность в принципе показать в историческом романе все черты какой бы то ни было эпохи или царствования. Многие поступки, их причины и цели окутываются флером не столько легенды, сколько загадки, и ключ к ней лежит в важнейших для Зотова понятиях *политика, гражданская жизнь*. Эта жизнь первенствует даже в сфере интимных отношений. Через все любовные коллизии в романе проходит мысль о первенстве таинственного долга перед некими силами. Здесь показательна прежде всего история графини Авроры, участницы тайных обществ, сыгравшей немалую роль в судьбе героя. Когда Леонид нарушает тайну, Аврора без колебаний оставляет его: «Если бы грустный остаток дней моих не был нужен для содействия высокой цели, коей посвятила я всю мою жизнь, я в тот же день умертвила бы себя» [5, с. 435]. Сюжеты всех романов Зотова строятся на одной коллизии: молодой человек, оставив узкий круг семейной жизни, приобретает на более или менее продолжительный срок к большой политической деятельности наравне с высокопоставленными лицами, ведущими эту игру. С достижением ряда политических целей герой осознает, что стоит на доступной ему вершине гражданской жизни, и оставляет общественное поприще для жизни частной. Для гениев уход от политической игры равнозначен смерти – эта мысль наиболее подробно развита Зотовым в романе «Фра-Диаволо» (1839), где речь идет о падении Наполеона.

Зотов по-иному, но все же акцентирует случайность исторического выбора. Положительные герои совершают по ходу сюжета самые что ни на есть «отрицательные» поступки. Поведение героев Зотова в сфере интимной жизни основано на мобильной системе «политических» постулатов: все их измены возлюбленным и друзьям – большей частью не прихоть, а исполнение требований, накладываемых новым образом жизни на «гражданской» арене. Крайняя гибкость зотовской «политики», конкретные принципы которой менялись ежеминутно, в зависимости от ситуации во внешнем мире, создавала сюжетную напряженность и делала развитие действия практически непредсказуемым, хотя основная историческая канва была, как правило, известна читателям из вводных глав. Читатель знал о персонаже практически все, но не мог предсказать, из каких принципов он будет исходить в дальнейшем. И Толстой с интересом изучал механику этого воздействия. И делал свои выводы. Как делал их и из прочтения книг Даниила Мордовцева в последние годы.

Возвращение к исторической тематике в позднем творчестве Толстого может показаться удивительным. Учет исторических источников, использование документов, серьезные попытки осмысления прошлого – все

это очевидно, но это не отражается в художественном тексте. Мордовцев создает литературный текст, не репрезентируя историю – ее случайность оказывается единственно важной характеристикой. Толстой же не случайность воплощает, а закономерность – посему история ему менее интересна, чем беллетристам-современникам. В этой связи показательно сравнение толстовского текста с другим произведением на тот же сюжет. Сопоставление «Хаджи-Мурата» с повестью Д. Л. Мордовцева «Кавказский герой» (1892) интересно еще и потому, что повесть Толстого написана с учетом текста Мордовцева [10, с. 170-177]. В упрощенном, может быть, усредненном виде («Кавказский герой» серьезно уступает «кавказским» романам Мордовцева) он обнаружил в сочинении историка-беллетриста многое из того, что хотел сказать сам? А то, что не высказано Мордовцевым, могло показаться Толстому неважным – отсюда и его охлаждение к практически завершённому «Хаджи-Мурату».

Читательский опыт Толстого разнообразен; тексты одного жанра, созданные в довольно узких рамках, вызывают разную реакцию, от отторжения до сочувствия, от сотворчества и собственного развития темы до отказа от развития темы... В этой системе координат насыщенный опыт Толстого не должен затеряться. Некоторые указания на его интерпретацию я и предложил выше.

Список литературы

1. Белецкий, А. И. Избранные труды по теории литературы [Текст] / А. И. Белецкий. – М. : Просвещение, 1964. – 478 с.
2. Берс, С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом [Текст] / С. А. Берс. – Смоленск : Тип. Ф. Н. Зильдович, 1894. – 85 с.
3. Введенский, Арс. Гр. Е.А. Салиас-де-Турнемир [Текст] / Арс. Введенский // Исторический вестник. – 1890. – № 8. – С. 380 – 399.
4. Данилевский, Г. П. Собрание сочинений [Текст] : в 24 т. / Г. П. Данилевский. Т. 17 : Черный год. – СПб. : А. Ф. Маркс, 1892. – 348 с.
5. Зотов, Р. М. Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона [Текст] / Р. М. Зотов. – М. : Пресса, 1994. – 576 с.
6. Ишук, Г. Н. Проблема читателя в творческом сознании Л. Н. Толстого [Текст] / Г. Н. Ишук. – Тверь : ТвГУ, 2004. – 256 с.
7. Мордовцев, Д. Л. Собрание сочинений [Текст] : в 14 т. / Д. Л. Мордовцев. – М. : Терра, 1996. – Т. 13 : Кавказский герой. – 544 с.
8. Салиас, Е. А. Пугачевцы [Текст] / Е. А. Салиас. – Курск : АП «Курск», 1994. Т. 1. – 576 с.
9. Свиясов, Е. В. Г. П. Данилевский [Текст] / Е. В. Свиясов // Русские писатели, 1800–1917. – М. : Пресса, 1992. Т. 2 : Г–К. – С. 80 – 82.
10. Сорочан, А. Ю. Квазиисторический роман в русской литературе XIX века. Д. Л. Мордовцев [Текст] / А. Ю. Сорочан. – Тверь : Марина, 2007. – 240 с.
11. Сорочан, А. Ю. Читатель в гостях у писателя (Визит Г. П. Данилевского в Ясную Поляну: тема и вариации) [Текст] / А. Ю. Сорочан // О литературе, писателях и читателях. Вып. 2. – Тверь : Тверской гос. ун-т, 2005. – С. 86–92.
12. Толстая, С. А. Дневники [Текст] / С. А. Толстая. – М. : Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1928. – Ч. 1. – 286 с.

13. Толстой, Л. Н. Полное собрание сочинений [Текст] : 90 т. / Л. Н. Толстой. М. ; Л. : Гос. изд-во, 1934. – Т. 46 : Дневник 1847–1854. – 578 с. – Т. 61 : Письма 1863–1872. – 420 с.
14. Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников [Текст]. – М. : Художественная литература, 1978. – Т. 1. – 624 с.
15. Эйхенбаум, Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы [Текст] / Б. М. Эйхенбаум. М. : Советский писатель, 1960. – 360 с.

LEV TOLSTOY – THE READER OF A HISTORICAL FICTION

A.Y. Sorochan

Tver state university

The department of history of Russian literature

In article is considered one of significant aspects of reader's experience of L. N. Tolstoy. The historical fiction was present at writer's circle of reading, however influence of these texts remains still up to the end obscure – as well as as a whole genesis of the «Tolstoy's line» in the russian historical novel of the XIX century.

Key words: *historical novel, reader, Russian literature of the XIX century, L. N. Tolstoy, E. A. Salias, G. P. Danilevsky, R. M. Zotov, fiction, perception*

Об авторе:

СОРОЧАН Александр Юрьевич – доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы Тверского государственного университета (170100, Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: bvelvet@yandex.ru